

Лидия Яновская: Никто так и не прошел по моим следам...

Пропущенные главы из биографии Булгакова

«О Михаиле Булгакове известно все, не правда ли?», - так начала Лидия Яновская одну из своих статей. Но вот перед нами две неопубликованные главы из ее книг, где выясняется, что известно не все.

По счастливому стечению обстоятельств, биография и творчество Михаила Булгакова стали делом жизни Лидии Яновской, которая еще в 60-е провозгласила его великим писателем, совершившим художественный и нравственный подвиг на фоне общей девальвации ценностей. Ее позиция была бескомпромиссна и почему-то шла вразрез с линией партии, а потом и с линией ее литнаследников, не оперировавших такими понятиями, но зато позволила работам Лидии Яновской остаться единственным островом сокровищ в сером и желтом потоке российского булгаковедения, а самой Яновской, естественно, оказаться в эмиграции. Между тем вот уже четверть века «Мастер и Маргарита»¹, «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Ханский огонь»² существуют в России в текстологической подготовке Л.Яновской.

Годы архивного и аналитического труда, дружба и переписка с современниками Булгакова, горы материалов вылились в две книжки (об Ильфе и Петрове³ и о Булгакове⁴), со скрипом, при содействии Д.Лихачева и К.Симонова, преодолевшие цензуру. А затем осколками огромной подспудной работы стали всплывать в периодике небольшие отточенные статьи Яновской, а также найденные и восстановленные ею неизвестные тексты Булгакова, украсившие впоследствии все его собрания сочинений. «Ханский огонь», «Красная корона», «Был май», «Неделя просвещения», «Звездная сыпь» и др. Важные текстологические работы (включая дневники Елены Булгаковой) увидели свет только при перестройке. И именно в этот период Яновская обнаружила вопиющие злоупотребления в государственном архиве Булгакова, после чего продолжать работать в России оказалось невозможно.

Но вдали от суеты Лидия Яновская выиграла свободу мысли и печати. Блестящие «Записки о Михаиле Булгакове»⁵ выдержали уже три издания, а в начале 2014 года, через семнадцать лет после появления «Записок», вышла посмертная «Последняя книга, или Треугольник Воланда»⁶, подытожившая полувековой подвижнический труд исследователя и писателя. Живой язык, острая мысль, глубокое знание эпохи, опыт текстолога и архивиста, анализ биографических (а не выдуманных) корней булгаковских образов, размышления и открытия приближают нас к пониманию истины, «тихой и скромной истины» героя книги.

«Последняя книга» не была закончена полностью, пришлось дополнять ее главами из черновики, втискивая их в заданный издателем объем. Публикуемая здесь давно написанная черновая глава в книгу не поместилась, а между тем она вскрывает не тронутый исследователями пласт документов, относящийся к киевскому детству писателя. (Впрочем, полагаю, булгаковеды и теперь не помчатся по горячим следам в киевские архивы, а тихо поправят свои энциклопедии, забыв сослаться и на эту скромную публикацию...)

Второй наш раздел посвящен одной из печальных загадок последних лет жизни Булгакова. Это глава для четвертого, гипотетического (пока) издания «Записок о Михаиле Булгакове», написанная в 2010 году. Добавлю, что архив Лидии Яновской передан в Харьковскую научную библиотеку им. В.Короленко, где, надеюсь, уцелеет в нынешних бурях и дождетя своих исследователей.

Андрей Яновский

1 М. Булгаков. Избранные произведения в двух томах. Сост., текстол. подгот., предисл.,коммент.Л.М.Яновской. Киев: Дніпро – 1989. М.А.Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Подгот. текстов Л.Яновской...-М.: Худож.лит.,1990.

2 М. Булгаков. Избранные произведения в двух томах. Сост., текстол. подгот., предисл.,коммент.Л.М.Яновской. Киев: Дніпро – 1989.

3 Л.Яновская. [«Почему вы пишете смешно? Об И.Ильфе и Е.Петрове, их жизни и их юморе»](#) - М.: "Наука", 1969.

4 Л.Яновская. [Творческий путь Михаила Булгакова](#). — М.: Сов. писатель, 1983.

5 Л.Яновская. [Записки о Михаиле Булгакове](#). — М.: Текст, 2007.

6 Л.Яновская. Последняя книга, или Треугольник Воланда. — М.: ПРОЗАиК, 2013, ISBN 978-5-91631-189-1

Учитель словесности

Пропущенная глава из «Последней книги, или Треугольника Воланда»

«О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, уг консекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах... <...> Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживался в течение двух тысяч лет...» («Белая гвардия»).

Школьные годы будущего писателя... Детство и отрочество, атмосфера ученья, радостное чтение детства, приобщение к музыке, первое знакомство с театром, друзья, учителя... Любая нить в этом сплетении интересна.

Как Булгаков учился? Кто были его учителя с их «вечно загадочными глазами»? Среди записанных П.С.Поповым признаний писателя такое: «Сочинения в гимназии писал хорошо, но с общечеловеческой точки зрения это было дурное писание, фальшивое – на казенные темы. Учитель словесности был человек ничтожный».

Кто был этот «ничтожный» учитель словесности? И какие такие «казенные темы» он предлагал своим ученикам для сочинений? Это можно узнать? Да, конечно.

Источники существуют. Весьма обширные источники, хотя и разнохарактерные. Например, выпущенные к столетию Первой киевской гимназии сборники – тяжелые юбилейные, официальные тома, несколько однообразно открывающиеся портретом Николая II и содержащие самую неожиданную информацию – от перечня выпускников гимназии за сто лет до описания являющейся собственностью гимназии форменной, цвета маренго, тужурки швейцара главного входа. И, конечно, с портретами и биографиями учителей, к сожалению, заметно отретушированными для парадного издания биографиями ⁷.

А еще есть огромный, выдержавший войны, бомбежки, пожары, чудом, хотя и с пробелами уцелевший (что пробелы по сравнению с тем, что сохранилось) архив гимназии – фонд № 108 в Государственном архиве города Киева. С ведомостями успеваемости и протоколами заседаний педагогического совета. С самыми разными документами, запечатлевшими жизнь гимназии во все восемь лет учения Михаила Булгакова. Здесь проходят его братья, тоже учившиеся в этой гимназии, его товарищи по учению.. И, конечно, учителя – на этот раз, пожалуй, без ретуши...

Где-то ближе к середине 70-х годов, когда рукописи Булгакова были для меня безнадежно закрыты, я ушла с головой в киевские архивы. Архив города Киева, объяснили мне, находится где-то далеко от центра (имя в названии улицы ничего не говорило), троллейбус довезет – от старой Думской площади идет троллейбус. Я запомнила адрес, название остановки и в центре, на Думской площади, дождалась нужного троллейбуса. Троллейбус был почти пуст, освещенные ярким весенним солнцем улицы за его окнами безлюдны. Я размышляла о чем-то своем, об архивах, должно быть, как вдруг что-то произошло... Что-то неожиданно тревожное прозвучало в названии остановки... Вот троллейбус опять остановился... открылась и закрылась дверь... никто не вошел и не вышел... прозвучало название следующей остановки... и я совершенно явственно услышала шорох невидимой толпы... В воздухе висело – и когда отворялась дверь троллейбуса, это было особенно хорошо слышно – неторопливое шарканье тысяч ног... В основном старики, женщины и дети, потому что мужчины – на фронте...

Да, троллейбус шел на Лукьяновку. И, невидимая, здесь вечно шла толпа. Я слышала ее шаги. Назвали мою остановку – троллейбус остановился прямо у Бабьего Яра. Здание Архива находилось на улице,

⁷ См.: «Столетие Киевской первой гимназии», тома 1–3, Киев, 1911; «Летопись императорской Александровской киевской гимназии», Киев, т. 1, 1912, т. 2, 1913, т. 3, 1914.

идушей вдоль смертного рва, вытянувшийся фасад был обращен ко рву. Потом оказалось, что окна читального зала все-таки выходят в другую сторону, во двор. Вероятно, это было сделано намеренно – иначе было бы невозможно работать. Чудилось бы, что души убиенных с любопытством заглядывают в окна, подсматривают, кто там разбирает их личные документы...

Провинциальные архивы все еще сохраняли простодушное гостеприимство. Требовалось только принести «отношение» – авторитетное письмо из солидного учреждения. В Киеве такие отношения я получала в редакции литературного журнала «Радуга»; мои булгаковские эссе этот журнал не печатал: заказывали, упрашивали, читали, восхищались, обещали... и с покаянной готовностью выписывали письмо в архив.

Киевские архивы были безбрежны. Городской архив – с огромным фондом Первой гимназии, в которой учился Михаил Булгаков... С фондом Университета св. Владимира, в котором учился он и его друзья... Да и только ли гимназии и университета?

В поисках знакомых имен я листала дела киевских Высших женских курсов. Наткнулась на документ, подписанный Иларией Михайловной Булгаковой, по-домашнему – Лилей, ровесницей и любимой кузиной моего героя. В его студенческие годы она подолгу жила в булгаковской семье на Андреевском спуске... Собственно, это был не документ, а всего лишь прошение, поданное ею 12 августа 1909 года: «Желая получить высшее образование, покорнейше прошу Ваше Превосходительство зачислить меня слушательницей на исторический отдел историко-филологического отделения...»⁸ Но и из этого одинокого листка можно было узнать, что Илария Булгакова, прежде чем приехать в Киев, жила и училась в городе Холме, тогдашней Люблинской губернии, и – еще любопытнее – что ее отец, протоиерей Михаил Иванович Булгаков, брат Афанасия Ивановича Булгакова и дядя моего героя, был преподавателем Холмской духовной семинарии. Варвара Михайловна приняла ее под свое крыло – как еще раньше приняла сыновей другого брата своего покойного мужа – священника православной церкви в Токио Петра Ивановича Булгакова... Дом 13 на Андреевском спуске весьма походил на терем-теремок из известной детской сказки...

А в поисках Лилиных бумаг просматривала списки «Личных дел». На Высших женских курсах «процентной нормы» не было, еврейские девушки могли поступать на Курсы свободно, в списках мелькали еврейские имена и в их числе, конечно, те, чьи судьбы, мечты и старания нашли свое завершение в гигантской могиле – здесь, за тонкой кирпичной стенкой Городского архива, в котором хранятся их полные надежд «прошения» и ведомости успеваемости...

И все же, тесня все другие мысли и впечатления, передо мною вставала, раскрывая свои коридоры, классы, библиотеки Первая гимназия начала века...

Я работала по многу часов. Выписки, наблюдения, размышления... Все было невозможно изложить. Да и незачем. Опубликовать такую работу в 70-е годы я не могла – не по цензурным условиям, а просто потому, что меня – по моему статусу, по моему положению в литературе – публиковали по каплям, по крохам и значительная часть рукописей просто погибала. Использовать в книге, вышедшей в начале 80-х, тоже оказалось невозможно – ввиду заранее определенных, небольших ее размеров...

Почти все годы учения Булгакова – вся «гимназия» – ушла мимо... Все обширнейшие записи о гимназических учителях остались нереализованными, их пульсирующая, живая объемность за тридцать лет для меня в значительной степени погасла. Да и сами записи сохранились не все... очень не все...

Думаю, что этот архив – в отличие от булгаковского, разграбленного, в Москве – по-прежнему доступен... Но за три десятилетия, насколько мне известно, никто так и не прошел по моим следам... Продолжали потихоньку переписывать друг у друга – Кончаковский у Бурмистрова, Чудакова у Кончаковского, Мягков у Чудаковой, а Галинская у всех вместе... Привычные формулы, не относящиеся к делу, посторонние имена...

А Бурмистров? Статья А.С.Бурмистрова «К биографии М.А.Булгакова (1891–1916)» была

8 Государственный архив города Киева, ф. 244, оп.3, ч. 1, ед. хр. 533, л. б/н.

опубликована⁹, и затем его ошибочные, не выдерживающие критики версии использовались (и чаще всего без ссылок) во всех сочинениях булгаковедов, где речь шла о школьных годах писателя. В своей статье А.С.Бурмистров рассказывал – причем не в плане художественного воображения или гипотезы, а в качестве документальной информации – как и чему учился в детстве будущий писатель и особенно подробно о его учителях. Приведены их биографии, описана манера преподавания некоторых из них, высказаны предположения о том, кто из них и как повлиял в дальнейшем на художественное творчество писателя. Выбирал Бурмистров для Булгакова учителей из сборника "Столетие", предпочитая тех, чьи биографии были заманчивее, и далее уже расцветчивал эпитетами по своему разумению.

Например:

«Учитель латинского языка Алексей Осипович Поспишиль, издатель сочинений Платона, умел заинтересовать гимназистов красотой языка античных авторов. Его страсть к музыке... удачно сочеталась со страстью пропагандиста античной культуры. Возможно, певучий язык древних легенд, услышанный писателем на уроках Поспишиля, отозвался позже на страницах романа "Мастер и Маргарита"» Кончаковский и Малаков в своей книге «Киев Михаила Булгакова» (Киев, 1990, с. 13) передают это так (без ссылки на Бурмистрова): «Красотой и изяществом языка античных авторов умел пленить учитель латинского языка А.О.Поспишиль – издатель произведений Платона, увлеченный пропагандист античной культуры». Б.С.Мягков («Родословия», с. 15): «Учителем латинского языка в гимназии был чех А.О.Поспишиль, издатель сочинений Платона и страстный пропагандист античной культуры».

Увы, умел ли А.О.Поспишиль заинтересовать гимназистов «красотою языка античных авторов» и какие «древние легенды» он читал на своих уроках, мне неизвестно, и подозреваю, осталось неизвестным будущему автору романа «Мастер и Маргарита»: латынь Булгакову преподавал все шесть лет гимназического курса латыни, с третьего класса по восьмой, другой педагог – Станислав Болеславович Трабша. О нем в сборнике «Столетие Киевской первой гимназии» несколько официальных строк: преподавал в этой гимназии древние языки с 1896 года. На групповом фотоснимке – тщательно застегнутый сюртук, лысая голова «толкачом», серьезное, твердое лицо. Вероятно, был строг. Вероятно, был неплохой педагог, хотя каких-либо следов чтения на его уроках «древних легенд» (с их «певучим языком») не сохранилось.

«Философскую пропедевтику читал Георгий Иванович Челпанов... Профессор киевского, а с 1907 года – московского университетов, основатель московского психологического института, Челпанов... Может быть, его лекции и пробудили интерес Булгакова к философии...», - пишет Бурмистров. Но если Челпанов с 1907 года профессор Московского университета, то как мог киевский гимназист Михаил Булгаков, в старших классах учившийся в 1907-1908 годах, слушать его лекции? В Москву он, что ли, ездил для пробуждения «интереса к философии»?

Кончаковский: «В старших классах гимназии читался курс философской пропедевтики (предварительные понятия о науке). Этот предмет блестяще вел Г.И.Челпанов, профессор Киевского, а со временем Московского университета, основатель Московского психологического института».

Мягков: «Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, известный философ Г.И.Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. После 1906 г. его сменил доцент университета А.Б.Селиханович». И вслед за Бурмистровым же перечисляет учителей Булгакова, у которых на самом деле Булгаков *не учился никогда*.

Наставники Булгакова... учили Булгакова... раскрывали Булгакову... А Булгаков в «Мольере» пишет об учении иначе – что дает школа... Но главное, у Булгакова были другие учителя.

«Из преподавателей русского языка и русской словесности особо выделялись Н.А.Петров, М.И.Тростянский, Ю.А.Яворский, А.Б.Селиханович... Если Петров научил юного Булгакова «слышать» и «переживать» литературное чтение, то другой преподаватель, Яворский, ввел его в мир волшебной

9 См.: «Контекст – 1978», Москва, 1978.

сказки, народных поверий». (Мягков еще и спутал: у него – русский язык преподавал «Н.И.Петров, крестный отец Михаила»! А у Бурмистрова другой Петров – Н.А. Который хоть в гимназии этой служил.)

У Яворского, который, по мнению Бурмистрова, ввел Булгакова «в мир волшебной сказки» и у которого, к счастью, Булгаков не учился, очень эффектная и ученая биография, но как раз с его именем связана одна из самых безобразных историй, на которую я наткнулась, листая протоколы педсовета.

Это была история издевательства Яворского над гимназистом из бедной семьи. Что кричал и как оскорблял учителя доведенный до отчаяния подросток, не помню. Но суда на равных не было и быть не могло: педсовет традиционно занимал сторону учителя. И Яворского, явно виновного в нравственном и психологическом издевательстве, педсовет упраскивал простить ученика, потому что формальная дисциплина была беспощадной и при конфликте виновным заведомо считался ученик, поскольку ни при каких унижениях со стороны учителя дерзить ученик не имел права. При непощении Яворского мальчику грозило исключение.

Не помню, а может быть, и не знаю, чем кончилась эта гнусная история, но всякий раз вспоминаю учителя Яворского, когда перечитываю «Белую гвардию» и дохожу до петлюровского полковника Козыря-Лешко, который «на свое место» попал к сорока пяти годам, «а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным».

А любопытнее всего то, что подлинного учителя Булгакова Бурмистров опустил. Не понравился ему, не подошел тихий подлинный учитель...

Кончаковский и Малаков дали несколько фотопортретов учителей 1-й гимназии: Субоч, Селиханович, Черкунов, Бодянский... А главного – учителя словесности – нет. Впрочем, он есть на групповой фотографии...

А.С.Бурмистров пишет: «Михаил Булгаков не был в числе лучших учеников». Якобы слабые успехи Булгакова и якобы особые успехи по географии (которую просто учили в младших классах, когда Булгаков, как это свойственно малышам, старательно делал все уроки) М.Чудакова («Жизнеописание Михаила Булгакова») также извлекла из Бурмистрова, на которого забыла сослаться. Но и это ошибка. Михаил Булгаков принадлежал к числу лучших учеников в своем классе и первые шесть лет ученья (считая с первого класса, ибо сведений о подготовительном у меня нет) из класса в класс переходил «с наградой».¹⁰

... И еще источник, собственно говоря, никак не научный, не претендующий на точность документальную, а вместе с тем удивительный по точности образной, красочной, эмоциональной – автобиографическая «Повесть о жизни» Константина Паустовского. Паустовский учился в той же гимназии – тремя классами «моложе» Булгакова.

«Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку... Когда я успокоился и перестал плакать, мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стертая каблуками до свинцового блеска, вела вверх... Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат... Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому...» («Повесть о жизни», глава «Кишата».)

Ах, сколько здесь отступлений против истины документа, местами нечаянных, большей частью, вероятно, намеренных. Не было плачущего малыша, прижимающегося головой к маме. Судя по документам, Паустовский Константин был принят в Киевскую первую гимназию 20 августа 1904 года, двенадцатилетним, «по конкурсу отметок» непосредственно в первый класс, минуя подготовительный.¹¹

(Впрочем, может быть, фраза «по конкурсу отметок» означает, что принят все-таки *после* подготовительного класса? Ибо откуда бы в ином случае взяться «Конкурсу отметок»? Может быть, я недостаточно хорошо понимаю бюрократический язык документов?)

10 Общие ведомости Киевской первой гимназии. – Архив города Киева, фонд 108, оп. 94, ед. хр. 77, 79, 81, 84, 86, 88.

11 Архив города Киева, фонд 108, оп. 94, ед. хр. 80 (Протоколы педагогического совета за 1903–1905 годы), л. 92 об.

А Павел Николаевич Бодянский стал инспектором только в 1907 году...

Лестница... Ах, лестница. Судя по фотографиям, она была мраморной. Но когда я была в Киеве в 1991 году, она была чугунной... Какой же на самом деле была лестница? Может быть, чугун появился после войны, а Паустовский там побывал?

Но зато какая точность портрета! Я рассматриваю физиономию латиниста Субоча, любимого учителя Паустовского, на групповой фотографии. Как его описать? Маленькие, круглые стекла очков. Усы, вероятно, рыжеваты. Держится прямо. У Паустовского: «Субоч, похожий на высокого, худого кота с оттопыренными светлыми усами». Действительно – Субоч. Умри – лучше не скажешь. И точность того, что гораздо сложнее портрета – точность в передаче ощущения личности.

Ощущение непосредственности контакта с Бодянским:

«Мы прошли через зал в кабинет к инспектору Бодянскому – тучному человеку в просторном, как дамский капот, форменном сюртуке.

Бодянский положил мне на голову пухлую руку, долго думал, потом сказал:

– Учись хорошо, а то съем!

Мама принужденно улыбнулась».

Бодянский пришел учителем в эту гимназию в 1887 году – задолго до начала ученических лет и Паустовского, и Булгакова, и даже до их рождения. Преподавал древние языки, в пору учения в гимназии Михаила Булгакова – историю, потом стал инспектором гимназии. И все это время заведовал ученической библиотекой для младших. А это значит, что книги ученик 1-го – 4-го классов Михаил Булгаков, а потом ученик 1-го – 4-го классов Константин Паустовский брали в гимназической библиотеке непосредственно из его рук.

В «Повести о жизни» фигура Бодянского излучает, дышит. Тучный, энергичный, подвижный, но не суетливый («Мы хохотали, прячась за поднятыми крышками парт, но через минуту в класс вкатился, задыхаясь, инспектор Бодянский...» – глава «"Живые" языки»), со своим «страшным» голосом, которого боятся малыши («Инспектор Бодянский издал страшный звук носом, похожий на храп, – этим звуком он привык пугать кишат...» – глава «Осенние бои»), неприятельным юмором («Учись хорошо, а то съем!») и смеющимися глазами на строгом, хмурающемся лице, Бодянский, кажется, был немислим без гимназии, так же, впрочем, как и гимназия – Киевская первая – была немислива без него.

Звали его Павлом Николаевичем, в «Повести о жизни» он Павел Петрович. Но, несмотря на все изменения, был Бодянский, по-видимому, именно таким, каким его описал Паустовский.

Таким его запомнил некто Н.П.Михайлов (учившийся в гимназии на несколько лет раньше Булгакова и Паустовского): «Мне всегда, бывало, становилось весело на уроке при взгляде на его румяное, энергичное и доброе лицо, которому он порой пытался придать выражение строгости и суровости».¹² (Ср. у Паустовского: «Потом появился инспектор Бодянский. Нахмурившись и сдерживая улыбку, он...» – глава «Первая заповедь».)

Таким он виден на групповых фотографиях (все в том же сборнике «Столетие Киевской первой гимназии»). Тучный, с клинышком седеющей бородки на круглом, официально строгом и от этого очень обыкновенном лице, он сидит, положив на колени коротковатые руки (толстый живот мешает их скрестить), в первом ряду, рядом с директором (место инспектора – рядом с директором), а в маленьких, уставших его глазах – неистребимая, умная, смеющаяся доброта. Или, на другой фотографии, стоит – разумеется, рядом с директором (и фотограф, вероятно, уверен, что поставил директора в центре группы, но ошибся – центром смотрится Бодянский), в просторном, несколько помятом и, кажется, даже чуть-чуть засаленном форменном сюртуке, – воплощение надежности, а сбоку (с другого от директора боку) к нему, словно ища опоры, притулился старичок с белой бородой и очень светлыми, беззащитными, детскими глазами – учитель словесности Я.Н.Шульгин...

И еще в «Повести о жизни» Паустовского подкупает безошибочность нравственной оценки. Помню, после очередной поездки в Архив города Киева меня поразили, зазвучав совершенно по-новому, следующие строки в «Повести о жизни»:

«За столом сидел классный наставник Назаренко – громогласный человек с волнистой синей бородой,

12 «Воспоминания Н.П.Михайлова». В книге: «Столетие Киевской первой гимназии», Киев, 1911, с. 470.

как у ассирийского царя. Старшеклассники прозвали Назаренко «Науходоносором». Они уверяли, что он служил в охранке.

Весь год, до перехода в первый класс, Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти, вросшие в мясо. Я боялся его и ненавидел. Больше всего я ненавидел его за рассказы об этой операции» (глава «Кишата»).

Имя учителя Назаренко всплыло в фонде гимназии, в пухлой папке, набитой прошениями об освобождении от платы за «право учения».

Это была большая подробность гимназической жизни. Два раза в год – в сентябре и потом в январе – педагогический совет рассматривал прошения об освобождении от платы за обучение. Гимназия располагала определенным процентом бесплатных мест. Этих мест, разумеется, не хватало. Были еще пожертвования. Точнее, гимназия могла распоряжаться процентами с пожертвований, лежавших в банке как капитал. Их тоже было немного. Существовало несколько стипендий, назначенных крупными богачами-меценатами. Условие о стипендии, как правило, заканчивалось фразой: «Пользование стипендией не налагает на стипендиата никаких обязательств». Обязательств не налагало, но льготы все-таки давали лучшим ученикам – с точки зрения педагогического совета, разумеется. Преимущественно старшеклассникам. Преимущественно безукоризненного поведения. Преимущественно детям солидных родителей. Степень «бедности» при этом учитывалась, но решающим аргументом не была. Был еще фонд «вспомоществования нуждающимся ученикам», который, по настоянию педагогического совета, мог выдать какую-то сумму одновременно, скажем, рублей 25; это было совсем унижительно и к тому же меньше, чем полугодовая плата за обучение. Для некоторых семей отказ в освобождении от платы за «право учения» оборачивался трагедией.

И так же, как и многие матери гимназистов Первой гимназии, Варвара Михайловна Булгакова два раза в год – не склонив голову, а напротив, гордо подняв ее (бедным и униженным отказывали в первую очередь) – отправлялась добиваться бесплатного обучения для своих сыновей. Сначала – Михаила. Потом Михаила и Николая. Потом Николая и Ивана. «Оставшись вдовой с семьей малолетними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, покорнейше прошу...» А ведь были в семье и девочки. И, значит, в другие, не менее пухлые папки женской гимназии тоже ложились ее «прошения»: «Оставшись вдовой с семьей малолетними детьми...» Прощение за Булгакову Веру. Прощение за Булгакову Надежду. Прощение за Булгакову Варвару. Прощение...

Бедность не была решающим аргументом, но «удостоверение о несостоятельности» нужно было представить. Вот оно, подписанное ректором Киевской духовной академии епископом Феодосием о том, что Варвара Михайловна Булгакова осталась вдовой с семьей несовершеннолетними детьми и после покойного ее мужа, «кроме пенсии, не осталось других средств к содержанию семьи».¹³ Но, значит, и в эту приемную входила Варвара Михайловна, стараясь сохранять свое королевское достоинство и получать просимое как должное.

Впрочем, даже при ее уме и твердом характере добиваться льготы удавалось не всегда. И в списках освобожденных от уплаты, скажем в 1908–1909 учебном году я вижу имя Булгакова Михаила, а имени Булгакова Николая нет, ни в первом полугодии, ни во втором, и значит, за его учебу в подготовительном классе Варвара Михайловна заплатила сполна.¹⁴ В следующем учебном году имя Булгакова Николая появляется в списках освобожденных. Но имени пригостишки (или, по Паустовскому, «кишонка») Ивана нет.¹⁵ А плата за «право учения» в гимназии в тот год поднялась с восьмидесяти рублей до ста. И в университетской зачетной книжке Михаила Булгакова (в 1909–1910 учебном году он студент первого курса) два раза в год расписки казначея о том, что плата за слушание лекций и за практические занятия принята...¹⁶

Педагогический совет гимназии заседал при закрытых дверях. Но, может быть, потому, что средства и льготы распределялись не по каждому классу в отдельности, а по гимназии в целом, сложилась

13 Архив города Киева, фонд 108, оп. 82, ед.хр. 20, л. 62 (Приложение к прошению В.М.Булгаковой от 23 января 1909 года).

14 Там же, фонд 108, оп. 94, ед.хр. 93, лл. 43 и 102.

15 Там же, фонд 108, оп. 94, ед.хр. 98, лл. 36 об. и 121 об.

16 Там же, фонд 16, оп. 465, ед.хр. 16366.

традиция: за этими закрытыми дверями у матери был помощник, надежный ходатай за ее сына – его классный наставник.

Константин Паустовский очень тепло рассказывает о Субоче: «В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу... Вскоре я получил ответ. ”С нового учебного года, то есть с осени, – писал Субоч, – вы уже зачислены обратно в Первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы...” Я прочел это будто бы деловое письмо, и спазма сжала мне горло...» («Повесть о жизни», глава «Артиллеристы».)

В архиве сохранились «прошения» матери Паустовского и уверенное заключение В.Ф.Субоча на одном из них: «заслуживает».¹⁷

Такие же надписи я вижу на многих других прошениях. На прошениях Варвары Михайловны в частности. Ее заявление об Иване: «...Кроме того, сын мой поет в гимназическом церковном хоре и из приготовительного класса перешел с наградой» (1911, 19 января). На обороте ходатайство классного наставника, словесника Я.Н.Шульгина: «Булгаков Иван отлично учится и ведет себя...» Такое же прошение полгода спустя – 10 сентября 1911 года. И снова заключение Я.Н.Шульгина: «заслуживает...»¹⁸

Ее заявление о Николае: «...Кроме того, сын мой поет в гимназическом церковном хоре. Из первого класса перешел с наградой...» – и заключение классного наставника, преподавателя естественной истории И.И.Троцкого: «И по поведению, и по прекрасным успехам, и в силу материального положения матери Н.Булгаков...» (начал писать: «заслуживает», перечеркнул) «...вполне заслуживает освобождения от платы».¹⁹

И вдруг – удар! «Не нахожу возможным ходатайствовать об освобождении от платы за право учения Булгакова Николая в виду его не вполне безупречного поведения».²⁰ Это – полгода спустя. У Николая новый классный наставник – А.В.Назаренко.

Что бы ни натворил тринадцатилетний Булгаков Николай, в общем дисциплинированный, серьезный, очень сосредоточенный мальчик (более сосредоточенный и более ровно учившийся, чем его старший брат Михаил), удар был самоуверен, рассчитан, подл. («...Назаренко мучил нас, малышей, зычным голосом, насмешками, двойками и рассказами, как ему вырезали на ноге ногти...») Наказывать можно по-разному. Этот бил – с насмешливым сознанием своего жестокого права – по семье, по усилиям матери, по доверию между матерью и ее ребенком. Впрочем, думаю, Варвара Михайловна была лучшим педагогом, чем классный наставник ее сына, и вышла с достоинством и из этой передраги.

Подлейшие надписи А.В.Назаренко я вижу и на других делах. На прошении Л.Н.Сынгаевской, например. (Л.Н.Сынгаевская была подругой Варвары Михайловны, их дети дружили; ее младший сын, Виктор, учился в одном классе с Николаем Булгаковым; старшему, Николаю Сынгаевскому, суждено было стать прототипом Мышлаевского в романе М.А.Булгакова «Белая гвардия».)

Семья Сынгаевских, как раз в это время потерявшая отца, была одной из тех семей, для которых отказ в льготе оборачивался катастрофой. На прошении Л.Н.Сынгаевской А.В.Назаренко написал: «не поддерживаю ходатайства об освобождении» – под предлогом отсутствия одной из справок в деле.²¹

На фотографиях в книге «Столетие Киевской первой гимназии» Назаренко весьма эффектен, хотя борода его – действительно квадратная, на ассирийский манер – значительно поседела. Не знаю, служил ли он в охранке, и вряд ли это стоит выяснять. Но тому, что его боялись и ненавидели, что старшеклассники мстительно уверяли, что он служил в охранке, полагаю, можно верить.

Если бы у Булгакова и Паустовского были одни учителя, все было бы весьма просто. Но в гимназии восемь классов. Две параллели. Приготовительный. Занятия идут в семнадцати классных комнатах одновременно. И когда в руках сторожа Максима, столь знакомого нам по роману «Белая гвардия», перестает звенеть звонок, отмечая конец перемены, гулкие коридоры пустеют и бородатые учителя в форменных сюртуках, зажав под мышкой классный журнал, расходятся по классам, то если, скажем, в

17 Там же, фонд 108, оп. 84, ед.хр. 17, л. 110.

18 Там же, лл. 65–65 об. и 226.

19 Там же, л. 66.

20 Там же, л. 222.

21 Там же, л. 389.

класс четвертый (второго отделения), в котором учится Константин Паустовский, входит учитель, в это самое время класс седьмой, в котором учится Михаил Булгаков, вскакивает, гремя крышками парт, чтобы приветствовать другого педагога.

Латинистов в гимназии несколько, преподавателей французского языка – тоже, несколько учителей русской словесности, историков и т.д.

С.А.Ермолинский, якобы дословно записывает за Михаилом Булгаковым во время его болезни: «В середине двадцатых годов, – якобы говорил Булгаков, – мне довелось встретиться в Москве с одним писателем, тоже киевлянином, с которым я учился в одной гимназии. Мы не дружили раньше, но встретились душевнейше, как и полагается киевлянам, с пристрастием любящим родной город, и он воскликнул: "Помню, помню вас, Булгаков! Вы были заводилой! Я старше вас, но до сих пор на слуху ваш беспощадный язык! Да! **Латинист Субоч, помните? Он же, право, боялся вас!**» (Подч. мною. – Л.Я.)²² Ермолинский, конечно, имеет в виду Паустовского. И хотя Паустовский не старше Булгакова, а несколько моложе, впрочем, ненамного, дело не в этом. Дело в том, что Булгаков ничего подобного Ермолинскому не говорил и говорить не мог: он-то очень хорошо знал, что у латиниста Субоча не учился... И мемуары Паустовского не были Булгакову известны: они были написаны уже после смерти Булгакова...

В общем, одни повторяют без малейших ссылок за Бурмистровым, другие за Паустовским, а Ермолинский, беря у Паустовского, ссылается на Булгакова!

А что же учитель словесности, которого Булгаков назвал «человеком ничтожным» и которого Паустовский, тоже учившийся у Шульгина, изобразил примерно так же? Два очень крупных русских писателя – Михаил Булгаков и Константин Паустовский...

Учителя бывают жестокими, память учеников – тоже. Может быть, Яков Николаевич Шульгин, так терпеливо и внимательно смотревший на этих двух – таких обыкновенных, а на самом деле совсем не обыкновенных – учеников, был не так уж «ничтожен»?

Поиски доносчика

Примечание к главе «Милый Маррон» из «Записок о Михаиле Булгакове», сделанное много лет спустя

Кто же писал доносы прямо из булгаковского дома? – повис в середине главы риторический вопрос. Доносы, написанные не без литературного блеска, сохраняющие булгаковскую речь, даже булгаковские интонации?

Перечислены и одно за другим отвергнуты имена немногих бывавших здесь людей. Евгений Калужский, муж Ольги? Но он актер, а не писатель и вряд ли столь профессионально владел стилем. «Или наш добрый знакомый Сергей Ермолинский, бывающий здесь с Марикой?»

Имя стоит в самом конце перечня и, кажется, только поэтому вопрос оставлен без ответа.

Без ответа... Разве я не знала, как тяжело нависает подозрение над этим именем? Марика (в те годы жена Ермолинского) рассказывала: после ареста Сережи ее вызвали на Лубянку. К ее ужасу, предложили стать осведомительницей. Она рыдала; захлебываясь слезами, лепетала, что не сможет... не сумеет... не справится... (Рассказывала, и застарелый страх плескался в ее глазах.) Потом ее куда-то повели; ее подавленная память запечатлела показавшийся ей бесконечно длинным, устрашающе темный коридор, внезапный яркий прямоугольник двери, ослепительно освещенный кабинет... и кто-то в форме движется ей навстречу, приобнимает, утешая, кажется, даже гладит по волосам...

«Это был Ильин, – говорит Марика. – Он сказал, чтобы я не плакала, что меня не будут заставлять...» «Какой Ильин?» – с недоумением переспрашивала я. «Ну, этот, Ильин...», – туманно отвечала Марика, а

22 С. А. Ермолинский. Из записок разных лет. Москва, 1990, с. 21.

я предпочитала не перебивать ее расспросами.

Диалог наш происходил несколько десятилетий тому назад. Теперь известно: Виктор Николаевич Ильин, к концу службы генерал-лейтенант госбезопасности, возглавлял в ГБ тот самый отдел, который «курировал» образ мыслей писателей и прочих деятелей культуры. В свое время будет арестован и отсидит – как же без этого. Потом, ни в малой мере не писатель, станет одним из секретарей Союза советских писателей. Ильин приветлив, контактен, с начала своей деятельности связан с кино. И Марика знакома с ним с давних пор, почти по-домашнему, по каким-то киношным компаниям. Они даже считались друзьями.

После ареста мужчин часто арестовывали и жен. Их обвиняли в соучастии, в дононительстве, просто в том, что они жены. Но вербовать в осведомители?.. Где-то на краешке сознания вспыхивает мысль: не в том ли дело, что с арестом Ермолинского Ильин потерял агента? Он ищет замену!

Ну да! Отделы страшного ведомства работали расхлябанно. Несогласованно работали. И пока Виктор Николаевич Ильин, лелея и поощряя, воспитывал своих любимых осведомителей, оболтусы из соседнего отдела перевыполняли план по «врагам народа» и шили «дело» его лучшему агенту... Может быть, он надеялся, что Марика заменит Ермолинского? Ведь тот же литературно-театральный круг, те же установившиеся связи... Может быть, даже полагал, что она что-то знала о тайной стороне жизни мужа? Но Ильин – профессионал. Ему не нужен перепуганный и плачущий агент. А то, что Марика не заменит Сергея Ермолинского, яснее ясного...

И еще одна очень неприятная мысль подверстывалась к первой: арест Лямина!

Вспомним: Сергей Ермолинский бывал в булгаковском доме, начиная с 1929 года; но не часто; обыкновенно вместе с Марикой. Встречали его с симпатией, но роман «Мастер и Маргарита» при нем не читали. И в другие важные литературные обстоятельства не посвящали. Постоянным собеседником Булгакова, лучшим слушателем всех его сочинений был, как помнит читатель, Николай Николаевич Лямин. Его единственный, верный, его надежный и любимый друг. И пока Лямин на свободе, прорваться в этот очерченный дружбой круг невозможно.

Только после ареста Лямина в булгаковский дом по-настоящему плотно входит Ермолинский. Его наконец признают своим вполне. От него нет секретов.

Не значит ли это, что Лямина затем и убрали, чтобы Ермолинский без помех вошел в дом?

Я понимала: все происходило именно так. И, работая над главой в 1994–95 годах, вслед за вопросом о Ермолинском, тогда отнюдь не повисавшим в воздухе, изложила этот самый ход размышлений и доказательств.

А изложив, ужаснулась.

Это ведь не одно и то же: критиковать завиральные мемуары... или обвинить человека в смертельном предательстве дома, в который он вхож как друг...

Для оправдания подозреваемого бывает достаточно немногого. Для обвинения – особенно такого страшного обвинения – нужны очень весомые аргументы. Но дело, пожалуй, не только в этом. Я слишком хорошо помнила, что Ермолинский – именно Ермолинский – так безотказно, так внимательно и бережно помогал Елене Сергеевне подымать и поворачивать уже смертельно больного Булгакова. В тетрадях «О ходе болезни», которые Е.С. вела в последние месяцы жизни Булгакова, есть запись, сделанная 10 марта 1940 года, непосредственно после смерти: «В момент смерти <...> возле него были Люся, Женя, Леля, Сережа Ермолинский и Марийка <...> Тело одевали Павел Сергеевич <Попов>, Алексей Михайлович <Файко> и Сергей Александрович <Ермолинский>» (ОР РГБ, фонд 562, карт. 29, ед. хр. 4, л. 59).

(Запись, как и некоторые другие записи в этой тетради, по-видимому, сделана Лелей, сестрой Булгакова; отсюда неожиданное написание имени Марики: Марийка).

Я не хотела быть правой. Жарко надеялась, что ошиблась. Написанные страницы уничтожила. Уговорила себя, что можно, можно найти архивные бумаги, которые оправдают Ермолинского. Откроют причастность к этим доносам несчастного Жуховицкого – уж о нем-то хорошо известно, что его принудили к дононительству. Казалось, нужно всего лишь снова просмотреть дневники Е.С., по крайней мере те страницы, которые остались недоступными мне. Я настолько уверила себя в невозможности вины Ермолинского, что даже – непозволительный поступок! – заявила об этом в печати...

Булгаковский архив мне недоступен поныне и уже навсегда. Но теперь я знаю, что искать в нем оправдывающие Ермолинского документы бесполезно. Их там нет и быть не может. Потому что Ю.М.Кривонос нашел, наконец, тот самый «третий донос», о котором, помните, я писала: «Определить автора по двум листкам доносов... Еще бы два-три сочинения такого рода! Ну, не два-три, *хотя бы одно...*».

Нашел, и стало видно, что автор этого «третьего доноса», родственного первым двум, не кто иной как Ермолинский.

Что значит – нашел? Впервые опубликовал? Нет, документ давно опубликован: в «Независимой газете» 10 марта 1995 г. (публикация Г.С.Файмана). Юрий Кривонос этот документ впервые *прочитал*.²³

Как архивист я знаю: документы нередко сами окликают меня. Активно вступают в контакт, радостно приоткрывают свои образные тайны, правда, не до конца, не до конца... На этот раз документ меня не окликнул, и я прошла мимо. Может быть, это произошло потому, что опубликован он был уже после того, как я закончила свой очерк, а ко мне в руки попал еще позже. Может быть, я слишком зацклилась на доносах *из дома*, а здесь запечатлена встреча осведомителя с Булгаковым *на улице*. Или просто меня мало интересовала тема их беседы – о работе Булгакова для кино. Как бы то ни было, я не обернулась и не услышала документ. А Кривонос остановился, всмотрелся. И документ с ним заговорил.

Прежде всего исследователя заинтересовало именно то, что не привлекло моего внимания: о работе Булгакова в сотрудничестве со сценаристом Каростиным над экранизацией «Ревизора» для Киевской кинофабрики. Кривонос вспомнил, что нечто очень похожее читал в другом месте – в мемуарах Ермолинского. (См.: *С.А.Ермолинский*. Драматические сочинения, с. 637–638.) И сопоставил.

Теперь можем сопоставить и мы. Отличия есть: осведомитель пишет фамилию булгаковского соавтора так: «Каростин» и без инициалов; несколько десятилетий спустя в мемуарах Ермолинского точнее: «Каростин» и приведены инициалы: М.С. И еще: в мемуарах беседа с Булгаковым звучит суховато, даже тускло; естественно: свежесть восприятия за давностью лет ушла. А записи осведомителя, сделанные через полчаса после беседы, живы и непосредственны. О них Е.С. не сказала бы: «Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков». Как и в первых двух отмеченных мною доносах, в них слышны булгаковские интонации, присутствует его личность.

Запечатлено, в частности, доброжелательное отношение Булгакова к его соавтору. «Не помните, какие условия соавторства?» – спрашивает осведомитель (в доносе он назван «Источником»). «Больше чем половина за написание шла ему», – отвечает Булгаков. «А не хотели вы просто послать его к черту?» – «Нет. Он так работал, что из него вытягивали на фабрике все жилы. Кроме того, его вызывали в Москву, где всячески крыли за формализм». («Ревизор», уже снятый, – со знанием дела комментирует «Источник», – законсервирован на фабрике по причине формалистических уклонов в картине». «...Просмотренный дирекцией материал, – много лет спустя рассказывает Ермолинский, – вызвал резко отрицательную оценку (“формализм”), и работа над фильмом была приостановлена». Кривонос напоминает: в окружении Булгакова киносценарист Ермолинский – единственный, кто профессионально знаком с обстоятельствами в киносреде.)

И снова попытка «Источника» вызвать Булгакова на критику Каростина: «В конечном счете, это насильственное соавторство или нет?» – «Абсолютно нет! – отвечает Булгаков. – Надо прямо сказать, что после того момента, как я перестал понимать, что от меня хотят – работал почти один Каростин, а я только впадал в панику и хотел только поскорее удрать».

И снова: «Неужели вы, так хорошо знающий Гоголя, и особенно “Ревизора”, не могли сами закончить сценарий?» – «А черт его знает. У них такие доводы и такие требования, что я ничего не понял и должен был сдать».

Похоже, на этот раз «Источник» собирает «компромат» не на Булгакова, а на Каростина. Булгаков же по отношению к своему соавтору неизменно корректен.

И еще Кривоносова, в отличие от меня, заинтересовало то обстоятельство, что встреча «Источника» с Булгаковым состоялась *на улице*. В документе сообщается, что это произошло 22 декабря 1936 года,

23 См.: Юрий Кривонос. Синдром «Алмазного венца». – «Мы здесь. Международный журнал», <http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=1314>, 2009, № 211.

между 9 и 10 час. вечера, в присутствии жены Булгакова Елены Сергеевны. «Возникает вопрос, – пишет исследователь, – почему беседа велась на улице, это же был декабрь, разгар зимы, на морозе не постоишь. Значит, разговор шел на ходу. А куда и зачем они могли идти?» И рядом с загадочным донесением раскрывает Дневник Е.С.

Оказывается, в эти дни у десятилетнего Сережи, сына Елены Сергеевны, скарлатина, и она в течение нескольких дней не выходит из дому. И в доме никто не бывает: карантин. Но болезнь протекает благополучно, 23 декабря карантин можно отменить, и вечером 22-го Е.С. и Булгаков выходят на прогулку.

Почему в Дневнике не отмечено, что они кого-то встретили? Потому, резонно замечает Кривоносов, что и встреча и разговор не показались Елене Сергеевне заслуживающими внимания. Надо думать, очень уж «своим» был человек, с которым они шли по улице, и разговор – обыденным.

А куда шли? Предполагаемая схема события, по мнению исследователя, такова: этот человек заглянул к ним в тот вечер «на огонек», потом они пошли его проводить (как нередко провожали Ермолинского, жившего неподалеку, в Мансуровском переулке) и заодно прогуляться. Эти прогулки «до Ермолинских» были привычны, о чем свидетельствуют другие записи в Дневнике.

Логично? Я бы чуть уточнила: не заходил Ермолинский без приглашения, карантин все-таки, и знал, что Елена Сергеевна очень озабочена – ребенок болен. Булгаков и Е.С. вышли вдвоем. Вышли «подышать воздухом», привычным маршрутом прошли к Мансуровскому, «до Ермолинских», заглянули к друзьям. А потом уже Сергей Александрович, искренне обрадованный их визитом, и тем, что опасная болезнь миновала, и тем, что с Булгаковым можно поговорить о Каростине, вызвался их проводить. О разговоре же, состоявшемся по дороге, Е.С. ничего не записала, поскольку ничего особенного в разговоре этом не было...

В мемуарах Ермолинского меня когда-то поразили строки: «...Архив мой, бумаги, письма, рукописи, а с ними то, что я успел написать о Михаиле Афанасьевиче, погибли. И ведь уже возникала книга о нем!» («Драматические сочинения», с. 588). Книга о Булгакове? При жизни Булгакова?

А ведь это правда: Ермолинский действительно уже писал свою «книгу». При жизни Булгакова писал. Только адресовал он ее и передавал по частям очень своеобразному кругу весьма опасных читателей. Недаром Марика упрекала его: «А ты что-то пишешь, пишешь и никогда мне не прочитаешь». Естественно: кто же показывает близким такие сочинения?

При всем том, думаю, Ермолинский Булгакова любил. Не выпрашивал и не подсматривал – просто записывал то, что видел и слышал. Может быть, считал свою деятельность безобидной, даже благородной. Только ведь, как уже сказано выше, безобидных доносов не бывает.

Знал ли об этом все понимающий Булгаков? Увы, нет. И Елена Сергеевна, которую в конце жизни так раздражали мемуары Ермолинского, о его доносителе не догадывалась. Ни о чем не подозревала светлая душою Марика. И Тата – Наталия Абрамовна Ушакова-Лямина, – как говорится, на дух не переносившая Ермолинского, так и не узнала о его черной роли в трагической судьбе ее мужа.

Мир их сердцам.